

## У ИСТОКОВ РЕВОЛЮЦІИ

(Перечитывая «Окаянные дни» Бунина)

1.

Мудрая поговорка гласит: «из народа, как из древа, — и дубина, и икона». Поговорку эту приводит Бунин в своих «Окаянных днях» и справедливо добавляет от себя: «Да, в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергій Радонежскій или Емелька Пугачев».

Но послѣ позорных весны и лѣта 1917 года настал на Руси такой невиданный ужас, перед которым злодѣянія Пугачева и Разина показались всѣм невинной дѣтской сказкой. Правду надо сказать до конца: освободенный февральскими дѣятелями от «царскаго ига», ставшій вполне суверенным, народ откровенно предпочел всему, в том числѣ и хлестаковскому «февралю», разбойный «октябрь». И понадобились долгіе годы дьявольскаго опыта, сушаго ада на русской землѣ, чтобы все населеніе Россіи в цѣлом отшатнулось от своих социалистических мучителей.

Вспоминая о кровавом октябрьском переворотѣ, законном дѣтищѣ многорѣчиваго «февраля», Бунин пишет в «Окаянных днях»: «Каин Россіи, с радостным безумным остревенѣніем бросившій за тридцать серебрянников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.

Москва, цѣлую недѣлю защищаемая горстью юнкеров, цѣлую недѣлю горѣвшая и сотрясавшаяся от канонады, слалась, смирилась... И не было дня во всей моей жизни страшнѣе этого дня, — видит Бог, воистину так!

Вечерѣл темный, короткій ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обезчещенная, разстрѣлянная и уже покорная, принимала будничныи вид...

Я постоял, поглядѣл — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма не склонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себѣ не мог».

А позднѣе, вслѣд за Буниным, заплакала и вся Россія. Плачет она кровавыми слезами и до сих пор. Но как же случилось все это? И гдѣ первопричина, гдѣ истоки величайшаго в мѣрѣ зла, которое привычно и потому обезцвѣченно называем мы русской революціей?

До конца понятным и ясным пребывает одно: страшное, ни с чѣм не сравнимое революціонное зло могло осуществиться у нас лишь послѣ того, как имперская идея, завѣщанная нам Петром, по-

меркла и наконец погасла в умах и сердцах людей, непосредственно находившихся у власти. Это померканіе, погасаніе созидавшей Россію идеи началось с шестидесятых годов прошлаго столѣтія совсѣм не по причинѣ проводимых тогда правительством либеральных реформ, нужных и разумных, а в прямой связи с так называемым «освободительным движеніем» и, главное, в связи с идущими справа славянофильскими народническими идеями, отравившими постепенно лучшіе государственные умы.

Во главѣ «освободительнаго движенія», не только не имѣвшаго ничего общаго с либеральными реформами, проводимыми сверху, но



Рѣдчайшая «литературная» фотографія из коллекціи В. Н. Буниной  
Москва 1903.

Слѣва направо: Скиталец, Андреев, Горькій, Н. Телешов, Шалапин,  
Чириков (стоит), Бунин.

крайне враждебнаго им, надо по справедливости поставить праотца русскаго большевизма, тупого, малограмотнаго Чернышевскаго, любимаго ставленника нигилистов, угодливо одобряемаго из малодушія многими тогдашними барами — либералами, заслужившими от Щедрина мѣткую кличку — «примѣнительно к подлости». Впрочем, этой кличкой Щедрин невольнo опредѣлил и свой собственный либерализм, не препятствовавшій ему мирно сотрудничать с Чернышевским и другими нигилистами в «Современникѣ» Некрасова.

Правдиво говорить о писаніях и дѣяніях Чернышевскаго это значит обнаруживать сущность «освободительнаго движенія», это значит касаться истоков и русскаго атеистическаго народничества, и большевизма одновременно.

Конечно, к литературѣ, и особенно художественной, Чернышевскій никакаго отношенія не имѣл, точнѣе, не должен был бы имѣть. Но уж так печально сложилась во второй половинѣ девятнадцатаго вѣка русская дѣйствительность, что истинные мастера и художники слова в лучшем случаѣ лишь терпѣлись нами, искупая свое слу-

женіе искусству либеральными позами и дешевой демагогіей. Непокорных поэтов и писателей сообщали предавали анафемѣ, подвергали интеллигентской цензурѣ, невѣжественной и безпощадной, замалчивали, погружали в забвеніе. Так поступили побѣдоносные интеллигенты с Писемским, Случевским, Лѣсковым, Константином Леонтьевым. Кто помнит теперь романы, рассказы и театральныя пьесы Писемскаго? А между тѣм, одна «Горькая Судьбина», благоговѣнно отмѣченная Инокентіем Анненским, подлинная социальная драма, написанная рукою великаго мастера, принесла бы ея автору, родись он в любой западно-европейской странѣ, неувядаемую славу. Но Писемскому предпочли мы примитивнаго и вульгарнаго Горькаго, Константину Леонтьеву — Чернышевскаго, бездарнаго, безсильнаго оформить словесно даже самыя элементарныя свои измышленія. Чего стоит, хотя бы, ставшее знаменитым заявленіе Чернышевскаго:

«Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убѣжденій, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, если только буду убѣжден, что мои убѣжденія справедливы, и восторжествуют они, даже не пожалѣю, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только в этом буду убѣжден».

Все написанное и напечатанное Чернышевским, — а напечатано им цѣлых 600 печатных листов, — по языку, стилю и убожеству домыслов, ничѣм не отличается от приведеннаго мною отрывка. И подумать только, что этот человек был учителем гимназій, преподавал дѣтям русскій язык, учил их послѣдовательно думать, развивал в них вкус и чувство слова! А роман Чернышевскаго «Что дѣлать?» — с которым с литературной и общекультурной точек зрѣнія рѣшительно нечего дѣлать, — читался запоем русской молодежью, был настольной книгой наших дѣдов и неизмѣнно всѣми превозносился, вплоть до всерусскій катастрофы. За что? За открытую проповѣдь коммунизма, разврата, безбожія, за ненависть к прошлому Россіи, к ея исторіи, обычаям и вѣрованіям. Стоит вспомнить хотя бы о этой всеобщей любви к словам и дѣяніям Чернышевскаго, чтобы понять совершенную неизбѣжность, роковую неотвратимость нашей гибели. Странно было не замѣтить цинизма Чернышевскаго, его злобы и стремленія к разрушенію всего. Но в том-то и дѣло, что злая воля к гибели полностью овладѣла Россіей, начиная с половины прошлаго вѣка. В лицѣ Чернышевскаго русскіе люди поклонялись своему желанному будущему, правда, нѣсколько туманно предстоявшему их воображенію. Вѣдь вряд ли кто-либо из русских интеллигентов взялся бы с точностью опредѣлить истинное содержаніе проповѣдей Чернышевскаго. Первый с трезвостью и ясностью исключительной сдѣлал это Ленин. «Чернышевскій, — говорит он, — был социалистом, который мечтал о переходѣ к социализму через старую, полуфеодалную крестьянскую общину, который не видѣл, и не мог в шестидесятые годы прошлаго вѣка видѣть, что только развитіе капитализма и пролетаріата способно создать матеріальныя условія и общественную силу для осуществленія социализма. Но Чернышевскій был не только социалистом-утопистом, он был также революціонным демократом, он умѣл вліять

на всѣ политическія событія его эпохи в революціонном духѣ, проводя через препоны и рогатки цензуры идею крестьянской революціи, идею борьбы масс за сверженіе рѣшительно всѣх старых устоев и властей».

Все крѣпко стоит на мѣстѣ в этом опредѣленіи Лениным стараго русскаго большевика, инстинктом, ошупью подготавливавшего в Россіи осуществленіе большевизма. Нѣкоторая элементарность социалистических домыслов Чернышевскаго объясняется его незнаніем сочиненій Маркса и Энгельса. Зато эти канонизированные большевиками столпы социализма по-своему высоко цѣнили Чернышевскаго. Маркс писал о нем: «Это великій русскій ученый и критик, а его труды дѣлают дѣйствительно честь Россіи». А Энгельс добавлял: «Россія — страна, выдвинувшая двух мыслителей, масштаба Добролюбова и Чернышевскаго, двух великих социалистических Лессингов».

Так восхваляли Чернышевскаго, а по пути и Добролюбова, вожди всемирной революціи, профессиональные подстрекатели народов к убійствам и насиліям. Удивительнаго в этом нѣтъ ничего. Гораздо менѣе понятно восхищеніе Чернышевским, проявленное простыми и добрыми русскими людьми, а вслѣд за ними «храмом науки» — Петербургским университетом, безоговорочно одобрившим диссертацию на званіе магистра, опубликованную этим нигилистом в 1853 г. Науковѣрие и далеко не научный материализм к этому времени уже окончательно успѣли поработить «передовые умы русскійской профессуры». Чернышевскій отрицал сущность искусства, красоты и религіи, и этого одного было достаточно для признанія его первоклассным ученым, мыслителем и писателем.

Вот, на примѣр, опредѣленіе Чернышевским возвышеннаго и прекраснаго:

«Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чѣм сравнивается нами. Возвышенный предмет — предмет, много превосходящій своим размѣром предметы, с которыми сравнивается нами. Возвышенное явленіе — которое гораздо сильнѣе других явленій, с которыми сравнивается нами». (Собр. сочин. т. X, ч. II-я, стр. 97).

Этот жалкій домысел, столь малограмотно и неряшливо выраженный, «великій русскій ученый и критик» пытается подкрѣпить примѣром. Оказывается, «возвышенное не в перевѣсѣ идеи над явленіем, а в характерѣ самого явленія... Монблан и Казбек — величественныя горы потому только, что гораздо огромнѣе дюжинных гор и пригорков».

Вообще, величественное и возвышенное опредѣляется Чернышевским по принципу не качественному, а количественному. Свое разсужденіе о возвышенном он увѣнчивает поистинѣ высоко комическим заявленіем: «Отелло возвышен потому, что ревнует гораздо сильнѣе дюжинных людей... гораздо больше, гораздо сильнѣе — вот отличительныя черты возвышеннаго».

Итак, если кто-либо расшибет кому-либо физиономію, гораздо больше и гораздо сильнѣе, чѣм расшибали до сих пор, он совершит поступок, величественный и одновременно возвышенный? По мысли Чернышевскаго выходит не иначе.

Разсужденія Чернышевскаго о красотѣ и возвышенном на-

столько возмутили И. С. Тургенева, что, изменив своей обычно лукавой тактике, он написал Краевскому откровенное письмо: «Спасибо Вам за то, что у Вас отдѣлалась гадкую книгу Чернышевскаго. Давно я не читал ничего, что бы меня так возмущало. Это хуже, чѣм дурная книга: это дурной поступок».

Тургеневу вторил тогдашній министр народнаго просвѣщенія Норов, упрекавшій декана Историко-Филологическаго факультета Устрялова: «Как могли Вы пропустить диссертацию Чернышевскаго? Вѣдь это вещь невозможная. Вѣдь это полнѣйшее отрицаніе искусства. Помилуйте, Сикстинская Мадонна — итальянка-натурщица! К чему же сводится искусство?»

Но тщетно бранился Тургенев и возмущался Норов, — деканы, подобные Устрялову, и мыслители в духѣ Чернышевскаго легко и всецѣло восторжествовали в Россіи...

«Позвольте, как это там у Гегеля? «Возвышенное есть проявленіе абсолютнаго; искусство отражает высшую реальность и болѣе истинное существованіе, чѣм наша обыденная дѣйствительность»... Да за такія выдумки разстрѣлять мало! То ли дѣло: «возвышенное есть то, что гораздо...» и т. д., и т. д.

По утвержденію Чернышевскаго, «мысль матеріальна и ничѣм не отличается от любой химической реакціи», а искусство и в частности литература «должны всегда руководствоваться критическим реализмом, просвѣщающим умы и избличающим художественными средствами строй насилія и обмана». Справедливым становится послѣ этого краткое заявленіе Ленина: «Своими подцензурными статьями Чернышевскій умѣлъ воспитывать настоящих революціонеров».

Но какія же качества необходимы настоящему революціонеру? Безбожіе, неспособность воспринимать прекрасное, завистливость и ненависть ко всему прошлому, словом, очень низкій уровень духовнаго и душевнаго развитія. Этими свойствами с дѣтства и до самой своей смерти отличался Чернышевскій, с героизмом тупости переносившій ссылку, лишь бы увидѣть на старости лѣтъ торжество своих «идеалов», — крушеніе церкви, искусства и ненавистнаго Россійскаго Государства.

Как и всѣ, по выраженію Достоевскаго, «русскіе мальчики», Чернышевскій чрезмѣрно торопился, — осуществленія своих «идеалов» увидѣть при жизни ему не удалось.

Царство «русских мальчиков» общими нашими усиліями наступило нѣсколько позднѣе, а именно в февраль 1917 года.

## 2.

Правительство Александра Второго долго, слишком долго, переносило нигилистическія писанія Чернышевскаго и его сподвижников, не принимая мѣръ к пресѣченію все разрастающагося безобразія. Такое попустительство можно объяснить только одним: тлетворное дыханіе французской революціи успѣло к 1860 году в какой-то степени поколебать вѣру в имперскую идею даже в люлях, призванных править Россіей. Поистинѣ правая рука тогдашняго правительства не знала, что дѣлала лѣвая. Такое положеніе, весьма похвальное с точки зрѣнія христіанской, в государственном отно-

шеніи было не чѣм иным, как болѣзненным раздвоеніем ума, расщепленіем имперскаго сознанія, созидающаго Россію.

Спору нѣтъ, царствованіе Александра Второго во многом величественно. Чего стоят, хотя бы, судебныя преобразованія и раскрѣпощеніе крестьян, к сожалѣнію, не доведенное до конца. А успѣшное завоеваніе Кавказа, столь справедливо названное **замиреніем** самими покоренными народами! Эти старья, своевольныя и гордыя національности очень скоро поняли, что присоединеніе к великой имперіи, стоящей выше каких бы то ни было племенных соображеній и претензій, совсѣм для них не унижительно, но, напротив того, спасительно и благотворно. Россійскій имперскій дар к духовному обмѣну веществ был по достоинству оцѣнен многоразличными, религиозно глубоко культурными кавказскими національностями, к тому же сердечно тронутыми рыцарственным плѣненіем Шамиля.

Но, наравнѣ со все еще могучим имперским размахом и подлинным христіанским великодушіем, проявлялась непростительная слабость по отношенію к обнаглѣвшим народникам, лѣваго и праваго толков, от нигилистов и подлых подпольных заговорщиков до славянофилов включительно. Болѣе того, иные крупныя представители власти открыто сочувствовали славянофильским воззрѣніям, поощряя слащаво-сентиментальныя идилліи бытового исповѣдничества, вреднѣйшую проповѣдь великорусской избранности. Злокачественныя испаренія славянофильской пропаганды отуманили даже очень умныя головы. Имперскіе принципы снижались. Сам император подчас мнил себя старо-московским царем, призванным блюсти отжившій великорусскій традиціи. В бюрократической и придворной средѣ, дотолѣ трезвой и дѣловой, стало замѣчаться особаго рода заболѣваніе: туманное вѣрованіе «в мужика вообще, что смиренѣе велик». Именно это неопредѣленное вѣрованіе, перешедшее постепенно в подобіе какой-то уродливой вѣры в единственно полноправный черный народ, и привело Распутина в царскій дворец. Пока же, в ожиданіи такого полнаго торжества народнических идей, правительство Александра Второго, под лозунгом славянскаго «мужика вообще», повело Балканскую войну 1877 года. По официальной версіи, поддержанной без малаго всѣм русским обществом, смиренный русскій мужичок-славянин выступал на помощь своим младшим братьям-славянам против турецких угнетателей. Впервые со дня существованія Имперіи, великодержавный Петербург вел войну, руководствуясь официально и громогласно племенными принципами. Это роковое заблужденіе подало повод внѣшним врагам Россіи обвинить ее в служеніи безмысленной идеѣ панславизма. Но особенно разлагающей оказалась официально пушенная сверху славянофильская пропаганда тѣм, что она пробудила туземныя инстинкты, не только у великороссов и малороссов, но и у народов самых отдаленных **украин** Россіи. Отсюда зародились у нас различныя сепаратистскія стремленія, дотолѣ тщетно раздувавшіяся подпольными героями, сторонниками самоопредѣленія народностей.

Славянофильское безуміе охватило власть имущіе столичныя круги и из выдающихся людей того времени только двое оставались в сторонѣ от зловѣщих племенных самоупоеній: Лев Толстой, эгои-

стически предававшийся тогда семейному счастью, уютным помѣщичьим идилиям, и Константин Леонтьев, сразу же трезво оцѣнившій положеніе. Предвидя революціонную катастрофу, к которой, по его мнѣнію, неизбежно должна была привести подобная измѣна имперской идеѣ, Леонтьев писал:

«Национальное начало, лишенное особыхъ религиозныхъ оттѣнковъ и формъ, в современной, чисто племенной наготѣ своей, есть обман. Племенная политика — есть одно изъ самыхъ странныхъ самообольщеній XIX-го вѣка. Национальнаго, в дѣйствительномъ смыслѣ, в племенномъ принципѣ нѣтъ ничего». «Панславизмъ это идеалъ, современно эгалитарно либеральный; это стремленіе быть, какъ всѣ. Это все та же общеевропейская революція». «Самый жестокой и даже порочный, по личному характеру своему, православный епископъ, какого бы онъ ни былъ племени, хотя бы крещеный монголъ, долженъ быть намъ дороже двадцати славянскихъ демагоговъ и прогрессистовъ». «Любить племя за племя — натяжка и ложь. Истинно національная политика должна и за предѣлами своего государства поддерживать не голое племя, а тѣ духовныя начала, которыя связаны с исторіей племени, с его силой и славой. Политика православнаго духа должна быть предпочтена политикѣ славянской плоти... Национальное начало внѣ религіи не что иное, какъ начало эгалитарное, медленно, но зато вѣрно разрушающее». «Люди, освобождающіе или объединяющіе своихъ единоплеменниковъ в XIX вѣкѣ, хотятъ чего-то національнаго, но достигая своей политической цѣли, они производятъ лишь космополитическое, т. е. нѣчто такое, что смѣшиваетъ все болѣе и болѣе этихъ освобожденных или свободно объединенныхъ единоплеменниковъ с другими племенами и націями в общемъ типѣ прогрессивнаго европейскаго мѣщанства». «Что такое племя безъ системы религиозныхъ и государственныхъ идей? За что любить его? За кровь? И что такое чистая кровь? Бесплодіе духовное! Всѣ великія націи очень смѣшанной крови... Идея національностей чисто племенныхъ в томъ видѣ, в какомъ она является в XIX вѣкѣ, есть идея, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелигіозная, имѣющая в себѣ много разрушающей силы и ничего созидающаго, націй культурой не обособляющая; ибо культура есть не что иное, какъ своеобразіе».

Одинокій голосъ Константина Леонтьева такъ и остался неуслышаннымъ. Фальшивыя панславянскіе лозунги, по существу революціонныя, продолжали углублять племенную рознь в Россійской Имперіи, весьма далекой, по своему человѣческому составу, от всего славянскаго, ибо даже великороссовъ и малороссовъ, крайне смѣшанныхъ по крови, можно причислять къ славянамъ лишь с превеликой натяжкой.

Славянофильскія теоріи, в началѣ XIX-го вѣка занесенныя в Россію, «изъ Германіи туманной» и обработанныя на русскій ладъ исключительно одаренными людьми, вначалѣ принимались большинствомъ за благодушную, обрядово-бытовую идилию, мечтать о которой было очень удобно и пріятно, лежа на мягкомъ диванѣ, в стеганномъ халатѣ и теплыхъ туфляхъ, особенно послѣ длительного, какъ говорится у Гоголя, «заѣзда къ Сопикову и Храповицкому» — послѣ

мертвецкаго сна на боку, на спинѣ и во всѣхъ иныхъ положеніяхъ, с храпами, носовыми свистами и прочими принадлежностями».

Какой-нибудь раскосый Сысой Пафнутьевичъ, а за нимъ и нѣкій «гордый другъ славянъ», рыжій Макдональдъ Карловичъ, о которыхъ никто и ничего до тѣхъ поръ не слыхивалъ, авторитетно возвышали голосъ в защиту всего исконно славянскаго, требуя примѣрной казни для предательскаго Чаадаева, врага національныхъ реликвій, кремлевскихъ Царь-Колоколовъ, никогда не звонившаго, и Царь-Пушки, никогда не стрѣлявшей.

Поставленное в строгія грани Императоромъ Николаемъ Первымъ, славянофильство долгое время казалось очереднымъ салоннымъ домысломъ, порожденнымъ талантливыми людьми для всеобщаго развлеченія, но стоило Александру Второму нѣсколько ослабить правительственный надзоръ, какъ оно тотчасъ же, наравнѣ с нигилизмомъ и безбожнымъ народничествомъ, разрослось в нѣчто безликое, грозящее гибелью Россійскому Государству.

Для успешнаго веденія Балканской войны 1877 года, русское правительство, вполне одобряемое монархомъ, захотѣло воспользоваться славянофильскими идеями и тѣмъ намѣтило закатъ Россійской Имперіи. Стилизованное народничество, приукрашенное внѣшней обрядностью и былинными расказами о сусально-православномъ мужикѣ-простачкѣ, докатилось, наконецъ, до царскаго трона. Такъ непоправимая идеологическая ошибка задолго предуготовила Распутину торжественный доступъ ко дворцу.

Появленіе в государствѣ правыхъ и лѣвыхъ сообществъ, легально допускаемыхъ правительствомъ политическихъ партій, есть признакъ распада, утраты духовной органичности. Цѣльное, в себѣ нерасчленимое, либерально-консервативное начало, присущее правящей, ведущей элитѣ, возможной только при монархіи, снижаясь до такъ называемой общественности, распадается в дробь внѣжизненныхъ партійныхъ абстракцій, дурныхъ отвлеченностей, мертвыхъ теорій, при всякомъ удобномъ случаѣ, то справа, то слѣва, насильственно навязываемыхъ жизни живой.

Политическія партіи, почти открыто терпѣвшіеся правительствомъ, образовались у насъ впервые в царствованіе Александра Второго, причемъ, благодаря русской склонности къ анархіи и самоистребленію, либерально-лѣвыя и особенно крайне-лѣвыя настроенія очень скоро возобладали надъ правой неподвижной рутинной. Сословныя грани стирались, началось медленное смѣшеніе отстоявшихся традицій и вѣрованій, неминуемо ведущее къ всеобщему смѣшенію и расхищенію культурныхъ цѣнностей. Не только у дворянства и купечества, но и у самого правительства, ослабла вѣра в имперскую идею, всегда бывшую в Россіи, в своихъ скрытыхъ религиозныхъ возможностяхъ, свѣтскимъ преломленіемъ вселенскаго православія, его эманацией. Неистовая лѣвая болтовня раздуваемая писаніями демагоговъ в теченіе двадцати пяти лѣтъ, довела насъ наконецъ до пераво нареубійства. Я говорю «насъ», ибо страшное преступленіе 1881 года происхожденія не дворцоваго, но общественнаго, обще-русскаго, и общую вину в какой-то мѣрѣ раздѣляетъ с нами даже самъ убитый

Император, слишком часто проявлявший прекраснодушие, при всех обстоятельствах вредное, а в государственном отношении совершенно недопустимое. Если левая пропаганда сумела в те годы объединить всех убийц по убеждению, всех глупцов, невежд и безбожников, а правая рупина умудрилась кое-как пособрать всех мертвых души, всех отживших и не живших, то розовое прекраснодушие чистаго идеализма успело неведомым образом отуманить и одурманить даже лучших головы.

Трезвым и зорким до конца оставался тогда лишь один Константин Леонтьев.

### 3.

Под воздействием революционного подполья, нигилистических писаний и славянофильской народнической пропаганды, поощряемой сверху, русские люди, убийством Александра II-го, переступили черту, последнюю запретную грань, отделявшую их от неизведанной пропасти. Правительству Александра III-го, казалось бы, оставалось только бить отбой, опираясь при отступлении на все еще живую имперскую идею, или валиться в бездну со все возрастающей быстротой. Александр III нашел однако третью возможность ни губительную, ни спасительную, но до поры до времени замораживавшую. Царь прибегнул к тактике неподвижного пребывания на месте. Живой и дельной имперской консервативности, в трудную минуту всегда спасавшей положение, он предпочел откровенную, типично партийную правую реакцию.

Все застыло, отяжелело и как бы приросло к земле. Памятник, поставленный впоследствии Александру Третьему в Петербурге, несмотря на всю его творческую безкрылость, а может быть именно благодаря ей, очень верно отразил срыва, неподвижные будни нашей правой реакции. Эта мертвенная неподвижность сказалась, между прочим, на всех отраслях искусства, всегда связанного не явно и прямолинейно, а незримо и таинственно, со своею эпохою. На русскую литературу, поэзию, музыку, живопись и архитектуру этого времени легла печать безвкусицы и безстильности. Любопытнее всего, что все образованные русские люди, достигшие к восьмидесятым годам приблизительно двадцатилетнего возраста, так навсегда и остались, за редчайшими исключениями, слепы и глухи к религии и искусству. С одной стороны, воспринятые ими от предыдущаго поколения нигилистическая и народническая идеи, с другой, осевшее их скудную молодость реакционное болото, с его возродившимся бытовым исповедничеством и грубым натурализмом псевдо-искусства, окончательно подавили в них религиозные и эстетические чувствования. В этом отношении весьма характерны и поучительны «Очерки по истории русской культуры» Миллюкова. Безнадежная бездарность и дикое, чисто нигилистическое самовлюбление этого журналиста, публициста и политика оказались в данном случае вполне «приличны пьесе». Язык или вернее жаргон, на котором написаны «Очерки», и все сказанное в них о религии, искусстве, истории и государственном созидании, принадлежит по праву не одному Миллюкову, но без малаго всему его поколению, развращенному нигилизмом и обезцвеченному в молодые годы безыдейной

правой реакцией, показавшей свою полную неспособность к какому бы то ни было духовному движению. Словом, в «Очерках» Миллюков явил собою такую типичную для его сверстников помесь Чернышевского с околодочным надзирателем, сочетание скверной насмешки над религией и вьюковыми устоями, с затаенным желанием пристукнуть всех инакомыслящих.

В царствование Александра Третьяго, в среде более или менее образованнаго русского общества, скрытно, исподволь, нарастали революционные воодушевления, а правительственными сферами по-прежнему владели смутные славянофильские настроения и реакционная боязнь всякаго творчества.

Правительственный безыдейный застой, обедняя и обезцвечивая духовную жизнь российской нации, нисколько не мешал все растущему экономическому благосостоянию страны, что чрезвычайно характерно для предреволюционных периодов. Точно такое же материальное благополучие наблюдалось при Людовике XVI-м, в годы, предшествовавшие французской революции. Вообще, настоящая революция в отличие от смуты и бунта никогда не возникает и не может возникнуть из неудовлетворенности материальнаго порядка. Она зарождается в безрелигиозной пустоте, когда правящие страной государственные круги теряют веру в духовную зижительную идею, до того ими же самими насаждаемую и прививаемую сверху.

Если природа не терпит пустоты, то не выносит ее и душевный мир человека. «Сердца собратьев», не оплодотворяемая более правящей элитой, изменившейся идеей, становятся восприимчивы к псевдоидеям, и к ним легко находят дорогу шарлатаны от науки, искусства и политики. Тогда произведенный вродь романа Чернышевского «Что делать?» и «Очерков» Миллюкова заполняют образовавшиеся духовные пустоты своими баснями и лжеучениями, враждебными религии и творчеству. Тогда вступают в силу французские энциклопедисты, истинные делатели революции, куда более изощренные во лжи и клевете, чем наши доморощенные вольнолюбцы, легковесные русские мальчишки. Но все же любого русскаго папильона от либерализма, несмотря на его идейную невежество, всегда хорошо характеризовали строки из эпиграммы Дениса Давыдова, к сожалению, в свое время направленные автором не по адресу:

Томы Тьера и Рабо  
Он на память знает  
И, как вольный Мирабо,  
Вольность прославляет.

А, глядишь, наш Мирабо  
Стараго Гаврило  
За измятое жабо  
Хлещет в ус, да в рыло,

А, глядишь, наш Лафаёт,  
Брут или Фабриций,  
Мужичка под пресс кладет  
Вместе с свекловицей.

Или, глядишь, сдает идеалист, по примѣру героя Достоевскаго, Степана Трофимовича Верховенскаго, своего крѣпостного человѣка в солдаты, в уплату за карточный долг. Или же, наконец, за упраздненіем крѣпостного права и вышедших из моды жабо, занимается он подобно нѣкому свободолобивому депутату Государственной Думы, незаконными торговыми сдѣлками и денежными спекуляціями. И уж тут не скоро замѣтишь в чем дѣло, ибо виѣшній облик либерала — спекулянта предреволюціонной формаціи бывает зачастую безупрочнѣе и возвышеннѣе, чѣм у самаго опытнаго международнаго афериста.

В царствованіе Александра Третьяго правая реакція образовала немало душевных пустот и провалов. Они множились под напором сильной, но безыдейной воли самаго Царя. Эта воля, принуждавшая всѣх к неподвижному пребыванію на мѣстѣ, спиною к Европѣ и лицом к Азіи, могла, во исполненіе славянофильских завѣтов, лишь временно охранить страну от революціонной гибели.

Душевный міръ человѣка жаждет развитія и движенія. Это знал Петр Великій, создатель Россійской Націи, и этого не вѣдало правительство Александра Третьяго, остановившее и в сущности отмѣнившее дѣло Петра.

По слову Лейбница, жизнь есть ряд неустанных рожденій и развитій (developpement), а смерть не что иное, как уменьшеніе, сворачиваніе (enveloppement). Александр Третій сворачивал свиток величественных дѣяній, развернутый нѣкогда Петром и его вѣрными послѣдователями, он упразднил Имперію и замѣнил ее заолустным азіатским царством, гробом имперских стремленій. Царь не мог забыть ужасной смерти своего отца, а с нею и гибели священнаго всероссійскаго символа отцовства. Спасая монархію, он остановил всякое движеніе, в надеждѣ предохранить страну от окончательной революціонной катастрофы. Личной воли на это у Александра Третьяго хватило с избытком, но ему недоставало главнаго — творческаго дара и духовности. Ничѣм не одухотворенныя усилія Царя были тщетны, и русскій Ариман — злой бог насилія и самоистребленія — уже выслѣживал свою жертву, Россію, как всматривал у Гоголя подземный Вій, предводитель нечистой силы, несчастнаго Хому Брута, простодушнаго отвѣтчика за міровые грѣхи.

Александр Третій был хорошим и честным русским царем, но императором он не был. Всѣ свои положительныя качества, кромѣ мощной воли, и всѣ недостатки своих уцербленных государственных воззрѣній он передал наслѣднику, по восшествіи на престол Императору Николаю Второму.

С начальных же дней трагическаго царствованія этого послѣдняго русскаго царя стало ясно, что имперская идея утрачена верхами безвозвратно, и что правая реакція, вызванная личной волей Александра Третьяго, пошатнется от перваго испытанія от малѣйшаго, снизу направленнаго, толчка, стоит только революціонным вожакам умѣло противопоставить правительственной безыдейности свою, пусть злую и смертоносную, но во всяком случаѣ взрывчатую идею. А между тѣм, подлинно творческія силы русскій націи к этому времени еще далеко не изсякли. Не поддержанныя пра-

вой реакціей и презираемая многочисленными послѣдователями русскаго нигилизма, наслѣдниками Чернышевскаго, сумѣвшими, кстати сказать, несмотря на правительственныя строгости, захватить печать в свои руки, эти творческія силы начали проявлять себя с конца XIX-го вѣка в единственно возможном направленіи — в области художественной литературы и искусства.

Люди вкуса, ума и таланта дружно возстали против установленной лѣвыми «анти-эстетической» цензуры. Если бы только Двор и вообще правительственныя сферы, по примѣру старинных времен, нашли в себѣ достаточно такта, остроты и энергіи, чтобы дѣятельно поощрять этих зачинателей новаго, они приобрѣли бы себѣ сильнаго союзника, глубоко ненавидѣвшаго пыльную паутину, сотканную лѣвыми, сумѣвшими за какія-нибудь три-четыре десятилѣтія почти полностью покончить с русскій искусством. Но в том то и заключалось горе, что у правительственных кругов в тѣ годы не было ни государственнаго такта, ни энергіи, ни любви к художественному творчеству. Правители и омертвѣлая бюрократія не понимали, какія громадныя силы многообразнаго воздѣйствія скрываются в искусствѣ. Даже простое меценатство, неизмѣнно присущее в монархических странах правящей верхушкѣ, окончательно перешло к началу XX-го вѣка к московским купцам, занявшим, в сущности, всего лишь пустое мѣсто. Только музыка и балет, очевидно, признанные в политическом отношеніи безопасными, продолжали пользоваться поддержкой Двора, вплоть до февральскаго развала и, как всѣм извѣстно, были чудом совершенства и сильной опорой правительства в дѣлах виѣшних и внутренних. Но наши правительственные круги конца девятнадцатаго и начала двадцатаго вѣка забыли тѣ благодатныя для русскій монархіи дни, когда надѣялась Екатерина Великая цинами, орденами, имѣніями, червонцами и золотыми, осыпанными брилліантами табакерками, не только своих фаворитов и доблестных генералов, но и Державина и Фонвизина; когда поддеживал Александр Первый и денежно, и морально, Карамзина; когда всячески поощрял Николай Первый Крылова, Жуковскаго, Пушкина, Гоголя, Кипренскаго, Александра Иванова и многих других писателей и художников; когда, в чаяніи толка от Льва Толстого, участвовавшаго в чинѣ поручика в Севастопольской кампаніи, Император писал Главнокомандующему, повелѣвая ему не назначать в опасныя мѣста «надежду отечественной литературы», будущаго автора «Анны Карениной». Правда, на старости лѣтъ, сидя на досугѣ в Ясной Полянѣ, Толстой сторичей оплатил Императору за заботы, назвав его в своем «Хаджи Муратѣ» «Николаем Палкиным». Но странно было бы ожидать иной благодарности от престарѣлаго моралиста и сектанта, упоеннаго міровою славою.

Всѣ, по-настоящему одаренные, писатели, поэты и художники конца XIX-го и начала XX-го вѣка, не взирая на полнѣйшее равнодушіе верхов и презрѣніе лѣвых, быстро покорили широкую публику, инстинктом искавшую опоры в каком-либо новом жизнедѣятельном починѣ. Такой успѣх был немедленно отмѣчен руководителями лѣвых журналов и издательств, умѣвшими, когда надо подавлять в себѣ неспріязнь и привлекать к сотрудничеству чужеродныя, в политическом отношеніи неопытныя силы. Вскорѣ вышло так, что всѣ

талантливые служители пера, за чрезвычайно рѣдким исключеніем, очутились в лѣвом лагерѣ, на услуженіи у народников и марксистов.

Давно извѣстно, что по журналам и издательствам творит атмосферу не искусство, а политика. Художественное произведеніе автора лѣваго или праваго, или же ко всему, кромѣ поэзіи, равнодушнаго, при напечатаніи, невольно получает особую окраску от окружающих его политических статей. Онѣ своим сосѣдством политически обезвреживают идейно им чуждое твореніе, или же рѣзко подчеркивают его пріятныя для них социальныя тенденціи. Так напримѣр, стоило бы Розанову опубликовать свои религиозно-метафизическія и одновременно художественныя размышленія не в «Новом Времени», а в каком-либо лѣвом журналѣ, как они тотчас же зазвучали бы для публики на иной лад. Или, скажем, стоило бы Блоку напечатать свои стихи о «Прекрасной Дамѣ» не в лѣвом модном журналѣ, а в том же «Новом Времени», и они сошли бы у читателя за нѣчто вполне ортодоксальное.

Вывод отсюда один: лѣвые дѣйствовали хитро, а правительство поступало, по меньшей мѣрѣ, недальновидно. Благодаря той же недальновидности, русская литература во всѣх учебных заведеніях, распоряженіем свыше, толковалась по Бѣлинскому, и потому русскіе классики представлялись учащимся бравурными борцами за свободу и социальную справедливость, попираемую царским режимом.

Не считается в государствѣ с какою бы то ни было духовною энергій, не стараться привлечь ее на свою сторону, есть предѣл близорукости. Высшія власти при Императорѣ Николаѣ Втором пренебрегли силою слова, и оно, само того не вѣдая, всею своею мощью обратилось на них. Для обнаглѣвших, когда-то подпольных революціонных героев, наступала свѣтлая пора. Они, поскольку позволяла еще не совсѣм упраздненная царская цензура, усиленно витѣйствовали по газетам и журналам, в ожиданіи особо благопріятнаго денечка. Тѣм временем, произошедшій еще при Александрѣ Третьем роковой поворот спиною к Западу и лицом к Востоку привел нас к ненужной, во всѣх отношеніях нелѣпой дальневосточной войнѣ. За эту неумѣстно проявленную воинственность Россійская Монархія заплатила собственной жизнью. Первой расплатой за неудачную безпѣльную войну была кровавая революціонная проба 1905 года. И Бог знает, чѣм могла бы она кончиться, если бы не личная желѣзная воля Дурново, безпощадно отвѣтившаго на насиліе насиліем.

Все как бы притихло, за исключеніем разнудавшейся лѣвой печати, обрадованной отмѣной цензуры, и демагогических выкриков Государственной Думы, несвоевременно, ибо в видѣ уступки, дарованной Монархом.

Спихватившееся царское правительство распустило Государственную Думу перваго созыва, но выборгское воззваніе, подписанное многими, по вѣщности вполне почтенными личностями из клана либерал-спекулянтов, тотчас же показало, что разложеніе общества уже достигло своего гибельнаго предѣла. Однако, власть имущіе круги, казалось, не понимали этого. Вѣдали и ясно сознавали страшную опасность только люди религиозно-эстетическаго

склада, по-прежнему игнорируемые правительственными сферами. А вѣдь уже в 1907 году Мережковскій открыто писал, обращаясь ко всѣм западным народам:

«Всей Европѣ, а не только какой-нибудь отдѣльной европейской націи, придется рано или поздно имѣть дѣло с русской революціей или анархіей. Ибо невозможно теперь уже опредѣлить то, что происходит в Россіи: есть ли это только измѣненіе политической формы, или прыжок в неизвѣстное, разрыв со всѣми существующими политическими формами... Тѣм не менѣе ясно, что эта игра опасна не только для нас, русских, но и для вас — европейцев. Вы слѣдите острым взором и с обезпеченным вниманіем за ходом русской революціи, но все же со взором, недостаточно острым, и со вниманіем, недостаточно обезпеченным: то, что происходит у нас, страшнѣе, чѣм вы думаете. Нельзя сомнѣваться в том, что у нас пожар. Но можно ли быть увѣренным в том, что, горя, мы не подожжем, в концѣ концов, и вашего дома?..» «Сила землетрясенія, от котораго разрушится тысячелѣтнее зданіе Россіи, будет так могущественна, что всѣ старыя парламентскія лавочки повалятся от нея, как карточные домики. Ни одна из этих лавочек не удовлетворит русскую революцію. Но тогда — что же удовлетворит ее и что будет потом? Это будет, очевидно, прыжок в неизвѣстное... полет в воздухѣ вверх тормашками».

В этом дальновидном и в то же время наивном воззваніи есть подлинное ощущеніе бездны, которая вот уже тридцать семь лѣтъ, как поглотила Россію, и нынѣ своим отверстым зѣвом поджидает, быть может, слишком поздно и недостаточно смутившуюся и испугавшуюся Европу. Да, воззваніе Мережковскаго, при всей своей прозорливости, было не лишено и наивности, ибо весьма переоцѣнивало умственные способности европейских и американских правителей и зоркость так называемаго общественного мнѣнія цивилизованных стран. Только через много лѣтъ, в эмиграціи, узнал Мережковскій, а вслѣд за ним узнали и мы, чего стоит общечеловѣческая и в особенности буржуазная косность.

#### 4.

Смуту 1905 года царская власть подавила безпощадно. И не к лицу было профессиональным подстрекателям к грабежам и насиліям жаловаться на жестокость правительства. Вѣдь твердили же они всегда: «революціи не дѣлаются в бѣлых перчатках». На это их заявленіе справедливо отвѣчает Бунин в своих «Окаянных Днях»: «Что ж возмущаться, что контр-революціи дѣлаются в ежовых рукавицах».

Как бы то ни было, но по усмиреніи мятежа, Россія, пользуясь затишьем, начала богатѣть. Такого благосостоянія, такого могучаго экономическаго роста она никогда еще не видывала. О россійском матеріальном богатствѣ, в годы, непосредственно предшествовавшіе февральской катастрофѣ 1917 года, говорили и писали всѣ добросовѣстные экономисты, всѣ трезвые, безпристрастные наблюдатели отечественной жизни. Война 1914 года не только не помѣшала все растущему народному благосостоянію, но по многим причинам еще

приумножила его. В особенности богатѣли крестьяне. Вспоминая об этом в «Окаянных днях», кстати сказать впервые опубликованных в «Возрожденіи», Бунин — всегда правдивый и вѣрный свидѣтель жизненных событій — приводит свой отвѣтъ деревенским бабам, расточавшим лицемѣрныя жалобы на войну и трудныя обстоятельства: «Эх, бабы, как не грѣх и не стыдно! Кто же это из вас умирает? Сроду никогда не жили так сыто. Сколько теперь денег на каждом дворѣ! Курицы на всей деревнѣ не купишь ни за какія деньги, — все сами ѣдите. А уж про ваш двор и говорить нечего. Ну-ка, скажите, сколько у вас скотины?»

Да, в послѣднее десятилѣтіе перед проклятым февралем Россія невиданно богатѣла и уж конечно не без прямого содѣйствія правительства. Благодаря разумным распоряженіям высших властей и замѣчательной, ни с чѣм по совершенству не сравнимой россійской администраціи, улучшались желѣзнодорожныя и рѣчныя сообщенія, развивалась внутренняя и внѣшняя торговля, укрѣплялись финансы, идеально работали учрежденія по переселенію малоземельных крестьян, умножались среднія учебныя заведенія по всѣм специальностям, улучшалось преподаваніе в сельских школах, открывались новыя высшія учебныя заведенія, строились усовершенствованныя городскія и сельскія больницы, и начавшаяся война, при всѣх ея тяготах и превратностях, сулила несомнѣнную полную побѣду над врагом и еще никогда до того не испытанную, по величію, отечественную славу. И все же началась революція! И все же она не могла не начаться! Ибо не одним хлѣбом будет жив человекъ, и там, гдѣ нѣтъ идеи, водворяется лжеидея. Революція должна была зародиться, **от потери имперской идеи, утраченной сначала верхами, а потом и всей центральной Россіей, ея ведущим ядром.** Замѣчательно при этом, что всѣ россійскія украинцы, приобщившіяся к имперской жизни позднѣ центра, и когда-то на него возстававшія, в первые годы лихолѣтія и гражданской войны оказались вѣрны священному дѣлу Петра. Опираясь не на одну, а рѣшительно на всѣ украинцы, организовалось и разрослось бѣлое движеніе, начатое, как извѣстно, горсточкой офицеров, вѣрных имперской идеѣ. Пишущій эти строки был одним из них, гордится этим и, не колеблясь, утверждает, что бѣлая армія в нѣдрах своих оставалась глубоко имперской, несмотря на прилипшіе к ней или, точнѣе, сидѣвшіе у нея в тылу и на шеѣ многочисленные духовно-чужеродные элементы, из которых самым вредным и разлагающим надо считать участников и сторонников февральских безобразій.

Россійская монархія погибла от собственной безыдейности, от подмѣны вселенскаго православія бытовым исповѣдничеством, имперской идеи — славянофильскими народническими бреднями, от нелѣпой, из пальца высосанной вѣры в сусальнаго и смиреннаго «мужичка вообще», сказавшагося в дѣйствительности, хотя бы в лицѣ Распутина, совсѣм не сусальным и не смиренным.

Я, конечно, весьма далек от того, чтобы так или иначе оправдывать презрѣнную, чудовищную по своей глупости клевету, введенную в тѣ годы на Государя и его Семью, свѣтлыми личностями от революціи. Нѣтъ, близость Распутина ко дворцу, на мой взгляд, была полезным дѣлом, поскольку удавалось этому крестья-

нину облегчать неизлѣчимуя болѣзнь Наслѣдника-Цесаревича. Но, к величайшему несчастью, Распутин стал для Двора всероссійским символом побѣдоноснаго народничества, воплощеніем славянофильских чаяній и чѣм-то вроде некрасовскаго дяди Власа, богомольнаго странничка, слащаво осѣняющаго крестным знаменіем завѣдомо святую и праведную мужицкую Русь.

Гибельная тяга дворца к мужичку-богоносцу не ограничивалась благоволеніем к Распутину. Упоенные революціонными сплетнями, россияне как-то совсѣм не замѣтили, что незадолго до февральскаго крушенія успѣлъ таки, по высочайшему приглашенію, побывать во дворцѣ и удостоиться царских милостей любимец петербургских литературных снобов, заграммированный под народнаго баяна, стихотворец Есенин. Этот скандалист и хулиган бил по кабакам и притонам зеркала и посуду и читал по сомнительным салонам свои стишки, посвященные все тому же русскому мужичку, которому от настойчивых поминаній, несомнѣнно, икалось бы круглые сутки, будь его сусальный двойник, порожденный дружными усиліями Двора, крамолы и разбойников пера, хоть чуточку похож на него — дѣйствительнаго и живаго.

Россійскую Имперію погубили выдумки, разрыв с реальностью, ряд роковых фальсификацій, подмѣна высшей идеи уничтожительной идейностью, идилліями, идеализмом и идеальничаньем. Незвѣстно, читал ли Государь и читало ли его окруженіе «Деревню» Бунина, жестокое, но правдивое свидѣтельство о ничѣм не прикрашенном мужикѣ. «Деревня» вышла в свѣтъ до войны 1914 года, в разгарѣ всеобщаго увлеченія пряничным селянином, смотря по надобности — и богомольным и богохульным, и буколическим и практическим, и монархическим и социалистическим. Лѣвые народническіе журналы, по причинам именно социалистическим, встрѣтили «Деревню» крайне недоброжелательно. Думается, что книга Бунина не имѣла бы успѣха и у Государя, но на этот раз уже по причинам «богомольным». По крайней мѣрѣ, царскій товарищ министра Крыжановскій, в своих воспоминаніях, напечатанных в свое время в «Возрожденіи», рассказывает нам, как он однажды увидѣлъ на столѣ у Государя книгу о русской деревнѣ Родіонова — произведеніе, хотя и не весьма художественное, но вѣрное дѣйствительности. Государь замѣтил взгляд, мельком брошенный Крыжановским на книгу, и тотчас спросил товарища министра, читал ли он ее и нравится ли она ему. На утвердительный отвѣтъ Государь возмутился духом: он не хотѣлъ вѣрять Родіонову, ибо придуманный правыми народниками идиллическій облик мужичка-богоносца навсегда запечатлѣлся в его воображеніи.

Личность Императора Николая II-го совсѣм не так проста, как старались ее изобразить, а, напротив того, сложна и во многом таинственна. Сознаніем он вряд ли улавливал всю неприглядность окружавшей его жизни, но он предвидѣлъ сердцем роковую судьбу Россіи и собственную трагическую участь. Царь чувствовал, что навигается на нас нѣчто неотвратимое, фатальное, и он все глубже уходил в религію от повседневности, не общавшей никакого просвѣта. Обманная греза о мужикѣ-богоносцѣ, о праведном селянинѣ была его послѣдней земной слабостью, жалкой и все же утѣшитель-



ной игрушкой, нужной подчас и взрослому. Но, может быть и другое, совсѣм другое устремляло к простолудину мечту обреченнаго Императора. Быть может, Государь, безстрашно смѣнившій в рѣшающій час царскій вѣнец на терновый, шел путями, указанными Достоевским, искал для себя и Россіи спасенія в религиозной, надсловной, по преимуществу простонародной элитѣ, возникновеніе которой в крови и трагедіи он духовно предчувствовал. Этот рыцарь Россіи и чести, оклеветанный революціонным отребьем, остался до конца вѣрен своей мечтѣ, своему видѣнію, умом непостижимому, и лишь на время — если только прав Достоевскій — от нас сокрытому. Но до рѣшающей и все выясняющей поры мы теперь обречены на колебанія, не вѣдая, кому же вѣрять: Достоевскому с его чаяніем конечнаго спасенія Россіи, добытаго кровью и страданіем, или Константину Леонтьеву — суровому, беспощадному наблюдателю, присудившему нас за страшный грѣх революціи к государственной и духовной гибели.

Лѣвьяя сообщества, хорошо организованная и натасканная в подпольѣ на клевету и сплетни, искусно распускали все новые и новые слухи о правительствѣ, Дворѣ и интимной жизни Царской Семьи. Эти нелѣпныя, но ядовитыя измышленія росли и множились и наконец к 1916 году, в самом разгарѣ войны, достигли своего: развратили и разложили правые круги, высшее и среднее дворянство и даже великокняжеское ближайшее окруженіе Императора. Здѣсь снова нельзя не вспомнить «Окаянных дней», к которым я еще неоднократно буду возвращаться, как к честному, вѣрному и умному свидѣтельству о русской революціи. Эти горестныя замѣты о нашей гибели, впервые опубликованные в «Возрожденіи», органически с ним срослись, стали его неотъемлемым идеологическим достояніемъ, его живой, мучительной и трепетной сущностью. Говорить о «Окаянных днях» Бунина, это значит излагать общественно-политическіе взгляды «Возрожденія», его истинное отношеніе к начальным фазам русской революціи. К «Возрожденію» в цѣлом слѣдовало бы поставить эпиграфом слова Бунина из «Окаянных дней», сказанныя о русской революціи и бѣлом движеніи:

**«Святѣйшее из званій, званіе «человѣкъ» опозорено, как никогда. Опозорен и русскій человѣкъ, — и что бы это было бы куда бы мы глаза дѣвали, если бы не оказалось «ледяных походов»?!»** (Подчеркнуто мною. Г. М.).

А по поводу безобразных обвиненій, возведенных на Царскую Семью и царских министров так называемым временным правительством Керенскаго и оказавшихся, послѣ судебного разслѣдованія, произведеннаго этим самым «правительством», чистѣйшей клеветой и сущим вздором Бунин писал в «Возрожденіи»:

«Нападите врасплох на любой старый дом, гдѣ десятки лѣтъ жила многочисленная семья, перебейте или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома, — сколько откроется темнаго, грѣховнаго, неправеднаго, какую ужасную картину можно нарисовать, и особенно при извѣстном пристрастіи, при желаніи опозорить во что бы то ни стало, всякое лько поставить в строку.

Так врасплох, совершенно врасплох, был захвачен и русскій старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какіе пустяки открылись. А вѣдь захватили этот дом как раз при том строе, из котораго сдѣлали истинной міровой жупел. Что открыли? Изумительно: ровно ничего!»

И тѣм безнадежнѣе становится на душѣ, когда подумаетъ, что первыми приступили к непосредственным революціонным дѣйствіям, к революціонному пролитію крови, совсѣм не лѣвые, а правые люди, или по крайней мѣрѣ, люди из так называемаго праваго лагеря, среди которых, в довершеніе нашего позора и несчастья, находился член Императорской Семьи, великій князь Дмитрій Павлович. Убийство Распутина, совершенное в разгарѣ европейской войны, невиданной по размѣрам, напряженію и трудностям, было первым ударом топора, заблаговременно занесеннаго над Россіей палачами от революціи.

Пишущій эти строки находился в эти дни на фронтѣ, на передовых позиціях в Галиціи, и хорошо помнит, какое страшное впечатлѣніе произвела на армію эта безсудная, подлая, подпольная расправа. Престиж царской власти оказался сразу же безвозвратно подорван, и именно потому, что принимали участіе в убійствѣ Распутина член Императорской Семьи, аристократ Юсупов и правый популярнѣйшій депутат Государственный Думы. Армія в цѣлом рассуждала, как всегда, прямолинейно, по-солдатски: «Если великій князь, аристократ и извѣстный депутат — представитель крупнаго дворянства — пошли на убійство человѣка, принимаемаго при Дворѣ самим Государем, то хорош же Двор, хороша же Царская Семья и хорош же вообще монархическій строй». Таким образом, путь к насильственному захвату власти всякаго рода профессиональными революціонерами был расчищен и предуготовлен правыми. И этого вообще не слѣдует забывать.

Опыт показал, что опрокинуть царскую власть ничего не стоило. Настоящих, твердых и неустрашимых монархистов почти не нашлось ни при Дворѣ, ни среди бюрократіи, ни среди высших военных чинов. Они не нашлись только потому, что имперская идея, скрѣплявшая русскую государственность, была безнадежно утрачена верхами. Восторжествовали, правда, всего лишь на час, как и слѣдовало ожидать, наши старые почтенные знакомцы: либерал-практики (милюковы), либерал-истерики (керенскіе) и, с первых же дней очутившіеся на побѣгушках у своих собратьев по революціонному ремеслу, но все же весьма довольные обстоятельствами, либерал-идеалисты (львовы, родзянки). Вкусный пирог государственной власти они захватили, заранѣе потирая ручки и облизываясь. Конечно, не были забыты при этом ни честныя гражданскія рѣчи, ни устремленные вдаль, преисполненные вѣры в свѣтлое будущее, горящіе юношескіе взоры. Одно, пожалуй, было лишним на радостях: наглыя ссылки на безкровность «святой и великой», — вѣдь переполненные тѣлами убитых гороловых мертвецкія безмолвно показывали обратное. Но что с того! Во имя социалистическаго будущаго «вперед, родные, не считайте трупов!».

Да, позы, фразерство и ложь, — вторая бессознательная или, если угодно, подсознательная, натура наших либералов. Они, эти

самые либералы, по словам Бунина в «Окаянных днях», «так извратились в своей профессии быть друзьями народа, молодежи и «всего свѣтлаго», что им самим казалось, что они вполнѣ искренни». «...Я чуть не с отрочества, — продолжает Бунин, — жил с ними, был как-будто вполнѣ с ними, — и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали: — Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу!..»

В самом дѣлѣ: то, что называется «честный, красивый старик, очень бѣлая большая борода, мягкая шляпа»... Но вѣдь это лживость особая, самим человеком почти не сознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумѣется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество таких «лгунов» в моей памяти.

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа».

«...Наши дѣти, внуки, не будут в состояніи даже представить себѣ ту Россію, в которой мы когда-то (т. е. вчера) жили, которую мы не цѣнили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»

«...Да, уж черезчур привольно, с деревенской вольготностью жили мы всѣ (в том числѣ и мужики), жили как бы в богатѣйшей усадьбѣ, гдѣ даже и тот, кто был обдѣлен, у кого были лапти разбиты, лежал, задерживая эти лапти с полной безопасностью...»

Лежал себѣ, полеживал и уж конечно не думал о своих «освободителях». Одному из таких упорных поборников непрощенной народом, «народной свободы», в первые мѣсяцы большевицкаго торжества все еще порочившему царскій строй и увѣрявшему, что революція была неизбежна и, главное, нужна, Бунин отвѣтил, воспроизводя полностью, сам того не вѣдая, никогда никѣм не услышанное пророчество Константина Леонтьева.

«Не народ начал революцію, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, чего мы хотѣли, чѣм мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю, — пусть она неизбежна, прекрасна, все, что угодно. Но не врите на народ — ему ваши отвѣтственные министерства, замѣны Щегловитовых Малянтовичами и отмѣны всяческих цензур были нужны, как лѣтошній снѣг, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши к чорту и временное правительство, и учредительное собраніе, и «все, за что гибли поколѣнія лучших русских людей», как вы выражаетесь, и ваше «до побѣднаго конца».

А лѣтъ за сорок до революции Константин Леонтьев произнес пророческія слова: «Если бы народ понял, что теперь уже правит им не сам Государь, а какими-то неизвѣстными путями избранные и для него ничего не значущіе депутаты, то скорѣе простолюдина всякой другой національности русскій рабочій человек дошел до мысли о том, что нѣтъ больше никаких поводов повиноваться, а о депутатах он не только плакать бы не стал, но потребовал бы для себя как можно больше земли и вообще собственности и как можно меньше податей. За свободу же печати и парламентских преній он не станет драться».

Невозможно придумать ничего нелѣпѣе и одновременно лицемернѣе утвержденія, что существует якобы внутренняя, качествен-

ная разница не только между нашими «февралем» и «октябрем», но и между русскою и так называемою великою французскою революціями. Как будто бы эти различныя фазы послѣдовательно развивающагося преступленія не составляют единого, в себѣ недѣлимаго, злокачественнаго и злодурнаго процесса, как будто бы всѣ онѣ не питались одинаково кровью ни в чем неповинных людей, не вырастали из принципиально оправданнаго насилія, не жили паразитарно за счет чужих, похищенных и присвоенных ими моральных и материальных цѣнностей.

Наши «февраль» и «октябрь» — прямое продолженіе и развитіе кровавых и воровских традицій французской революции. Они, подобно ей, возникли из просвѣтительскаго XVIII-го вѣка, провозгласившаго автономныя от религіи, «естественныя» права человека. Такой «просвѣщенный» и в то же время «естественный» самоутвердившійся человек — сам себѣ господин и вседержитель вселенной.

Прямым и практическим слѣдствіем безбожных просвѣтительских теорій была французская революція. Она, по прекрасному слову С. Франка, обнаружила человѣческое существо в его слѣпом злом, демоническом началѣ, отвергавшемся лживым и лицемерным просвѣтительством, она была экспериментальным обличеніем неправды и поверхностности просвѣтительскаго гуманизма.

Об этой же самой дьявольской сущности революции говорит Бунин в «Окаянных днях».

Февраль 1917 года был ничѣм иным, как абстрактно-идеалистическою первичною фазой единого и недѣлимаго революціоннаго зла, это Петруша Верховенскій, в дни отрочества крестящій свою подушку по-странному, еще неизжитому суевѣрію. Но Петруша подрастет, сбросит, как змѣя прошлогоднюю кожу, свой изжитый идеализм и окончательно утвердится во злѣ. Говоря иначе, из идеалистическаго Грановскаго получится практическій Миллюковъ, а из практическаго Миллюкова вылупится цинично-прямолинейный кровавый Ленин. Вѣдь если поистинѣ бѣсовская основа марксизма до сих пор все еще не породила в Западной Европѣ большевизма, то вѣдь только потому, — как вѣрно замѣчает С. Франк, — что здѣсь на западѣ марксистскія теоріи сочетались и смѣшались до поры до времени с сентиментально-демократическими ученіями просвѣтительскаго гуманизма. Такая помѣсь разжирѣвшаго Тартюфа с завистливым бѣсом социализма сказала здѣсь не в формѣ острой одержимости, как в Россіи, а в видѣ длительнаго хроническаго недомоганія. Западно-европейскія страны, и в особенности Франція, должны за это благодарить Наполеона. Он, по собственному его выраженію, своими контрреволюціонными дѣйствіями, «заложил закладку в книгу революціи», предупредив, однако, что она рано или поздно, но неизбежно, выпадет. Что ж, всякому овощу свой час! И навсегда останутся вѣрными слова этого минутнаго Царя Царей, но дивнаго Кондотьери:

«Что слѣлало революцію? Честолюбіе. Что положило ей конец? То же честолюбіе. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас для всѣх свобода!»

Лишенный, вѣками созданной, органически возникшей патриархальной власти, одуроченный Керенскими и Милокувыми, русский народ не только послал к чорту в турки всѣх депутатов, Учредительное Собрание, и «до побѣднаго конца», но в безуміи пробужденных въ нем революціонной пропагандой темных вождельнѣй, в жадлѣ наживы, анархїи и разрушенія, ринулся в невѣдомую бездну, уготованную для него стараніями либералов. Они, эти либералы, за время своего восьмимѣсячнаго пребыванія у власти, или вѣрнѣе — у безвластія, сами тонули, погибали в разливанном морѣ порожденной ими всероссійской патологической болтовни. Но «язык мой — враг мой», одним языком не проживешь. Брошенный на самого себя и потому ставшій не нашутку вполне «суверенным», русский народ, в поисках спасенія от правительственнаго и собственнаго языкоблудія, в поисках пресловутой «соціальной справедливости и правды», набрел на радикальную «Правду» Максима Горькаго.

По вѣрному замѣчанію Владиміра Соловьева, нѣтъ ничего опаснѣе лжи, содержащей в себѣ долю истины. Только такая ложь дѣйствительно соблазнительна. Марксизм — одно из многочисленных развѣтвленій варварскаго лже-мессіанизма, одна из многих псевдо-религій, пытающихся замѣнить собою отвергнутую «передовым человечеством» Голгофу, — и есть не что иное, как хитроумный обман, заключающій в себѣ извѣстную долю истины. Охотник до «правды», русский народ, стараніями Горьковской «Правды», приобщился к марксизму и узнал с достовѣрностью, что религія для людей ошум, что священнослужители далеко не всегда бывают преданы своему духовному призванію, что богатые обижают и эксплуатируют бѣдных. Словом, вперемежку с ложью, народ лишній раз почерпнул для себя в марксистской пропагандѣ неопровержимыя свѣдѣнія о грѣховной природѣ человѣка вообще и о пороках высших сословій и состоятельных классов в частности. Отсюда до огульнаго, слѣпого принятія всѣх марксистских положеній было рукою подать. Туманно-либеральные посулы и адвокатскій многорѣчивый вздор не так привлекали толпу, как простые и ясные призывы к грабежу и насилію. Под волшебным воздѣйствіем марксистскаго лозунга «грабь награбленное», даровавшаго долгожданное «право на безчестье», снова для народа оказались правыми не Борис Годунов, а Самозванец, не Царь Алексѣй Михайлович, а Стенька Разин, не Екатерина Великая, а Пугачев, и наконец не Колчак и Корнилов, а Ленин, Махно и атаманъ Григорьев.

Говоря о повторяемости исторіи, о роковом круговоротѣ событий, Бунин очень кстати приводил в «Возрожденіи», в своих «Окаянных Днях», выписки из исторіи Сергѣя Соловьева, Костомарова и Татищева.

Вот «Россійская Исторія» Татищева:

«Брат на брата, сынове против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единаго ради корыстолюбія, похоти и власти, ища брат брата достоянія лишить, не вѣдуще, яко Премудрый глаголет: ища чужога, о своем в оный день возрыдает».

«А сколько дурачков, — говорит Бунин, — убѣждено, что в Россійской исторіи произошел великій «сдвиг» к чему-то будто бы совершенно новому, доселѣ небывалому.

Вся бѣда (и страшная), что никто даже малѣйшаго подлиннаго понятія о «россійской исторіи» не имѣлъ.

А вот, — продолжает Бунин, — Сергѣй Соловьев:

— «Среди духовной тьмы молодого, неуравновѣшеннаго народа, как всюду недовольнаго, особенно легко возникали смуты, колебанія, шаткость. И вот они опять возникли в огромном размѣрѣ... Дух матеріальности, неосмысленной воли, грубаго своекорыстія повѣял гибелью на Русь... У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло... Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошеніе своего же дома под знаменем разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев...»

Сергѣю Соловьеву вторит Костомаров:

— «Народ пошел за Стенькой, обманываемый, разжигаемый, ничего не понимая толком... Были посулы, привады, а уж возлѣ них всегда капкан... Шли «прелестныя» письма Стеньки — «иду на бояр, приказных и всякую власть, учиню равенство»...

Дозволен был полный грабеж... Стенька, его присные, его воинство были пьяны от вина и крови... возненавидѣли законы, общество, религію... дышали мстью и завистью... Составились из бѣглых воров, лѣнтяев... Всей этой сволочи и черни Стенька обѣщал во всем полную волю, а на дѣлѣ забрал в кабалу, в полное рабство, малѣйшее ослушаніе наказывал смертью истязательной, всѣх величал братьями, а всѣ падали ниц перед ним»...

«Не вѣрится, — добавляет Бунин к словам Костомарова, — чтобы Ленины не знали и не учитывали всего этого».

Бунин безспорно прав, — отлично знали Ленины исторію русских бунтов и мятежей, прекрасно учитывая все разбойное, бунтарское в русском характерѣ и этим скрѣпляли, на этом строили с помощью Сталиных свое царствованіе.

...«Всякій русский бунт, — говорит Бунин, — (и особенно теперешній) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколько она жаждет прежде всего **безформности**. С покоя вѣку были «разбойнички» — муромскіе, брянскіе, саратовскіе, бѣгуны, шатуны, бунтари против всѣх и вся, ярыги, голь кабацкая, пусто-святы, — классическая страна буяна. Был и святой человѣкъ, был и строитель, высокой, хотя и жестокой, крѣпости. Но в какой долгой и непрестанной борьбѣ были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой неурядицей и нелѣпицей!»

Все это очень вѣрно. Но в одном ошибался Бунин и, вслѣд за ним, в первые годы своего существованія, ошибалось и «Возрожденіе».

Между всѣми историческими русскими бунтами, вмѣстѣ взятыми, и русской революціей 1917 года есть величайшая и во вѣки вѣков неистребимая разнища. Всѣ наши историческіе мятежи и смуты были одинаково явленіем душевно-біологическаго порядка, они начинались и развивались всегда оголтѣло, безыдейно, самотеком. При этом,

религіозна идея православія и государственная идея великокняженія и самодержавія, созидавшія Русь и Россію, никогда не померкали ни в творческом центрѣ страны, ни в душах отдѣльных русских людей, проживавших по украинам. Религіозно-государственная основа была тогда так жива и сильна, что предводители наших крупных бунтов, неизмѣнно возникавших на периферіи, вынуждены были, в расчетѣ хотя бы на временный успѣх, принимать на себя царское званіе и опираться по крайней мѣрѣ на какого-нибудь попа-разстригу. Без воровских ссылок на камилавку и шапку Мономаха русский бунт не мог бы состояться. Наши историческія смуты возникали не под влияніем лже-идеи, вбиваемой проходимцами в народныя головы, а как раз от отсутствія какого бы то ни было замысла и даже простого соображенія. В нѣкоторой, весьма ограниченной, степени составлял исключеніе один Стенька Разин: в его разбойной башкѣ бродили какіе-то жалкіе обрывки социалистических и слѣдовательно по настоящему революціонных домыслов. Но говоря вообще, всѣ русскіе бунты, мятежи и смуты, періодически усмиряемые правительством при помощи топора и дыбы, являли собою не что иное, как безоглядное буйство очень молодого народа, еще не приобщеннаго к міру свѣтлых или темных идей.

Придерживаясь «предѣлений Баратынскаго, надо сказать, что наши историческіе бунты были «безуміем забав», животным разгулом страстей, но не «пиром злоумышленія». Словом, нѣт ничего общаго, кромѣ кровавой видимости, между бунтом душевно биологическим, возникающим самотеком, и бунтом идейным, сознательно организованным и потому злоухованным.

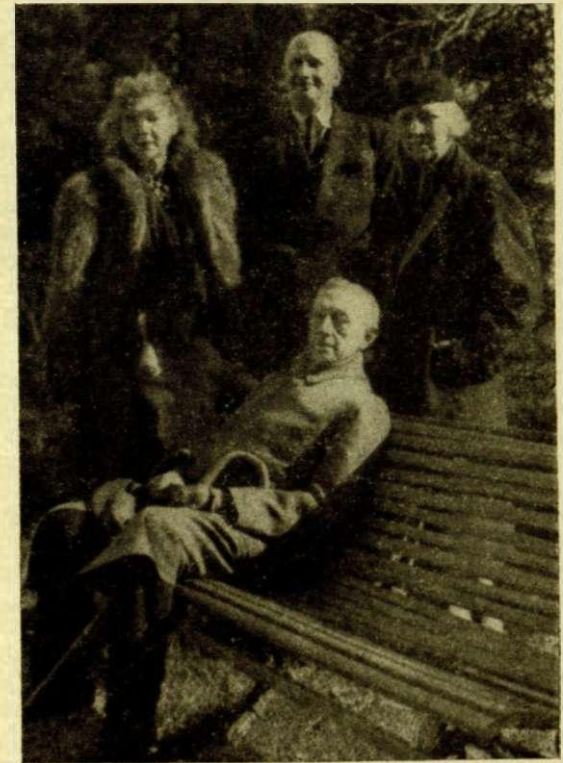
Этого не учитывал Бунин.

Исходной точкой революціи в цѣлом послужило основное положеніе просвѣтительскаго гуманизма XVIII-го вѣка: «Человѣкъ автономен от Бога, он сам себѣ господин и устроитель собственной и мировой судьбы».

Но если в первичной, французской, фазѣ своего развитія революція еще опиралась на убогую вѣру в моральное достоинство человѣка, как такового, взятаго изолированно, внѣ его связи с Богом, то вѣдь за долгій період, отдѣлившій французскій революціонный опыт от опыта русскаго, организованнаго бунта, загнаннаго на время Наполеоном в подполье, успѣлъ идеологически окончательно созрѣть и опериться. Начальная, наивно-«буржуазная» вѣра в положительныя нравственныя качества «царя природы», взятаго самого по себѣ, оказалась рѣшительно отброшенной при дальнѣйшем безостановочном ростѣ идей просвѣтительскаго гуманизма. Уже в сороковых годах прошлаго столѣтія просвѣтительскій гуманизм перерождается в марксизмъ в гуманизм натуралистическій и тѣм самым, по глубокому замѣчанію С. Франка, превращается в гуманизм **сатанинскій** и безповоротно самоистребляется. Такой кризис просвѣтительских идей, по совершенно вѣрному утверженію С. Франка, был отмѣчен у насъ впервые Гоголем. Автор «Мертвых Душ» «своим художественным взором увидѣлъ у человѣка **звѣриную морду**, а своей религіозной мыслью — теоретически довольно безпомощной — ясно созналъ одно: **человѣчество охвачено демоническими, дьявольскими силами и несется к какой-то ужасной катастрофѣ**».

«У Маркса, — говорит С. Франк, — дѣло идет не просто об оправданіи земной плотской природы человѣка; сущность экономического матеріализма и ученія о классовой борьбѣ заключается в том, что именно силы зла — корысть, злоба, зависть — суть единственные подлинныя двигатели человѣческаго прогресса. Все возвышенное, духовное, благородное в человѣкѣ, **принципіально отвергается**; лишь предавшись **сатанинским** силам, человек может осуществить свою цѣль на землѣ. Здѣсь образ человека **окончательно меркнет**; и не случайно, что именно в этой же связи вѣра в человѣческую личность смѣняется вѣрой в безличное чудовище «коллектива», «пролетаріата».

Таким образом, перед подлинным, апокалиптическим ликом революціи наш доморощенный «февраль», с его устарѣвшей вѣрой в само довлѣющее «царя природы», был только провинциальным азіатским пережитком, запоздалым отзвуком, изжитаго скептическим западом просвѣтительнаго гуманизма, ставшаго давно для европейцев практически все еще необходимой, но вполне лицемѣрной идейной проформой. Закладка, заложенная Наполеоном в книгу революціи, выпала, а заодно повалились и неосторожно с нею поигравшіе смѣхотворныя февральскіе лицедѣи. Затверженные либералами революціонныя зады нашей революціи не пригодились: она легко превратилась на русскую почвѣ в сознательно организованное, безбожными сердцами оправданное, марксизмом хитроумно систематизированное бѣсовское зло. И это зло, именно в силу своей демоничности, совсѣм иного качества, иного состава, чѣм наши мятежи и смуты, чѣм наше грѣховное, но всего лишь душевно-биологическое буйство. «Русскій бунт, бессмысленный



Juan-Jes-Pins, 1948.  
Стоят слѣва направо: Ирина Одоевцева, Роговскій, В. Н. Бунин.

и беспощадный» осёдлала дьявольская система, воспользовалась им, но осталась по отношенію к нему вполне инородным inferнальным явленіем.

Революція, впервые в міръ проявившая себя во Франціи, осуществила в русской фазѣ своего развитія нѣчто безмѣрно страшное, доселѣ небывалое, поистинѣ совершенно новое. К пониманію этой истины вплотную подходил Бунин в «Окаянных днях», но все же завершающаго слова не сказал.

Во всяком случаѣ, Бунин чувствовал, что революція есть нѣкая тайная злая сила, стремящаяся осмыслить по своему бессмысленный народный бунт и направить его к невѣдомой и страшной цѣли.

Вот, что говорит он по этому поводу в «Окаянных днях»: «Да, конечно, это что-то нечеловѣческое. Люди совсѣм недаром тысячи лѣтъ вѣрят в дьявола. Дьявол, нѣчто дьявольское несомнѣнно есть».

...«Всѣ надѣвали лавровые вѣнки на вшивыя головы, — продолжает Бунин, приводя выраженіе Достоевскаго. И тысячу раз прав был Герцен:

— «Мы глубоко распались с существующим...»

Впрочем, многим было (и есть) просто невыгодно не распаться с существующим. И «молодежь», и «вшивыя головы» нужны были, как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча, кадили мужику, благо он темен и «шаток». Развѣ многіе не знали, что революція есть только кровавая игра в перемѣну мѣстами, всегда кончающаяся только тѣм, что народ, даже если ему и удалось нѣкоторое время посидѣть, попировать, побушевать на господском мѣстѣ, всегда в концѣ концов попадает из огня да в полымя? Главари, наиболѣе умными и хитрыми, вполне сознательно приготовлена была издѣвательская вывѣска: «Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм». И вывѣска эта еще долго будет висѣть — пока совсѣм крѣпко не усядутся они на шею народу... «Вѣдь что ж было, — говорит Достоевскій, — была самая невинная либеральная болтовня... Нас плѣнял не социализм, а чувствительная сторона социализма...» Но вѣдь было и подполье, а в этом подпольѣ кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы, и нѣкоторыя, весьма для него удобныя, свойства русского народа». (Подчеркнуто мною. Г. М.).

Да, поистинѣ остается только поражаться наивной самовлюбленности и одновременно наглости наших либералов, продолжающих и здѣсь, за границей, в эмиграціи, «высоко нести знамя настоящей, идейной, великой и безкровной февральской революціи».

Вѣдь эти либералы и теперь еще вполне убѣждены в том, что именно они спасут Россію. Изумительно!

«Нарѣдкость твердо, — писал в 1926 году в «Возрожденіи» Бунин, — увѣрены всѣ эти Пѣшехоновы, что только им принадлежит рѣшеніе российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться, хотя бы от одного стыда за все то, что они явили, на диво всему міру, за свое шестимѣсячное царствованіе в 17-м году».

Здѣсь необходимо замѣтить, что Бунин, во-первых, забыл глу-

боко русскую поговорку из цикла наимудрѣйших: «Стыд не дым — глаза не ѣст» и, во-вторых, ошибся: не шесть, а без малаго восемь мѣсяцев процарствовали в Россіи наши благодѣтели. Зачѣм же отнимать у людей, и без того ободенных судьбою, почти два мѣсяца ликованій, самоудоеній и излюбленного празднословія. Вѣдь всѣ без исключенія революціонные дѣятели любят, захватив «бразды правленія», как они выражаются, по крайней мѣрѣ на первых порах позабыться, поболтать, покуражиться, ибо, как справедливо замѣчает Бунин: «одна из самых отличительных черт революцій — бѣшеная жажда игры, позы, балагана. В человѣкѣ просыпается обезьяна».

А это и значит, что на путях революціи человѣкъ утрачивает собственную личность, духовно регрессирует, превращается в животное, в о-безь-я-ну, становится существом без «я».

Но здѣсь мы наблюдаем всего лишь первую, если угодно «февральскую» стадію революціоннаго регресса, когда личность, начало духовное, образ Божій в человѣкѣ подмѣняется началом исключительно душевным, характером, индивидуальностью, имѣющимися и у животнаго. Во второй же, «октябрьской», стадіи революціоннаго вырожденія, человѣкъ теряет и характер, лишается индивидуальности и обращается в насѣкомое, в подобіе механизированнаго муравья, работающаго по своей специальности в общей кучѣ, на общее злое дѣло. При таком окончательном распадѣ и уничтоженіи личности, просвѣтительскій гуманизм, принятый к руководству нашим «февралем», оборачивается гуманизмом натуралистическим, по опредѣленію С. Франка — сатанинским, и, обнаруживая тѣм самым свою духовную несостоятельность, погружается в небытіе, превращается, по слову Достоевскаго, в гу-гу.

Георгій Мейер.

## БЛАЖЕННОЕ ДЫХАНЬЕ

Что ж! — Может быть, болѣть и этим надо,  
Чтоб, в свой послѣдній — умудренный — год,  
Узнать, что смерть не ужас, а награда,  
И собственнѣй благословить уход.

Все прожито, испытано, постыло...  
Нѣтъ правды нерушимой на землѣ, —  
То, что вчера еще казалось мило,  
Лежит сейчас растоптано во злѣ...

И только лип блаженное дыханье  
И рыбы всплеск, и зайца рѣзвый бѣг  
Припомнятся в минуты умиранья,  
Сквозь засыпающій сознанье снѣг...

Николай Станюкович.